

к 75-летию
начала Великой
Отечественной
войны

Роман
Клемент

92

Тётя Вера

фрагмент повести

■ ■ ■ **22** ИЮНЯ 1941 года я шёл по дороге вдоль деревни, направляясь к тому гумну, где бабы теребили лён. Надеялся ухитриться и как-нибудь раздобыть немного льна, из которого можно было бы свить верёвку и удлинить имевшийся у меня кнут. На безоблачном небосводе ярко сияло солнце.

Я уже подходил к гумну, откуда доносился шум и трескотня теребильной машины, когда увидел шедшего мне навстречу Фрезера. Брат куда-то спешил, шёл быстро. Поравнявшись со мной, спросил:

– Воевать хочешь?

Я не задумываясь ответил:

– Хочу!

– Война началась...

Весть быстро разнеслась по деревне. У нас, мальчишек, настроение было поначалу радостно-приподнятое. Но прислушиваясь к разговорам мужиков, мы начинали понимать, что надвигается что-то страшное. А потом кто-то занёс в Подоспу листок «Гдовской правды», и я своими глазами прочёл: «...оставлены города Минск, Могилёв, Каунас, Молодечно, Барановичи...» Да что же это такое?! Ведь «Красная Армия всех

сильней» пелось в наших песнях. Почему сдают города?

Скоро приехал нарочный и объявил:

– Всем выехать на работы – копать противотанковые рвы.

Неужели немец и сюда придёт? Ведь говорили: «Будем бить врага на его территории». Однако погрузились на телеги, взяли с собой чего поесть, обозом поехали на работы. Фрезер поехал вместе со всеми, я с тётей Верой остался дома. Жаль, теперь не знаю, куда они ездили. Вернулись через неделю. Фрезер рассказал, что спали вповалку в сарае, а днём копали, да ничего толком не выкопали, потом всё, что было с собой, съели и уехали по домам, не помирать же с голоду.

А потом в деревню пришёл уполномоченный и объявил:

– Копайте ямы, прячьте своё добро, чтобы не досталось немцам. Помню (и сейчас бы мог показать), где у тёти Ули была вырыта эта яма. Видел, как она сносила туда свой убогий скарб – одежонку, самовар, швейную машинку. Сверху положила доски, засыпала землёй, закрыла дёрном. Тётя Вера с бабой Фимой яму копать не стали, посчитали,

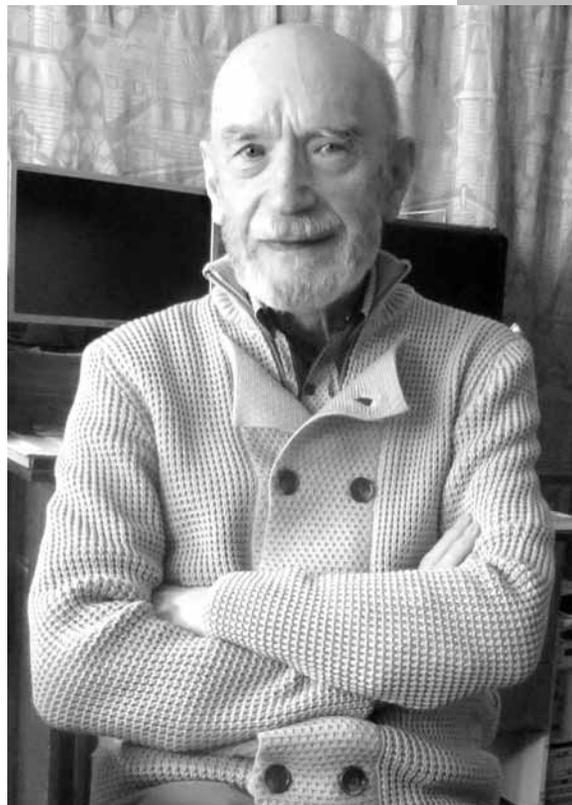
что ценностей у них нет, а прялку отнесли на чердак, если найдут, то так тому и быть, пусть берут. Они ещё не знали, что немцы не станут рыться по чердакам и в подвалах, они поступят иначе – отступая, сожгут всю деревню вместе с некоторыми её жителями.

Теперь я не могу понять, почему мы с тётёй Верой при первых известиях о начале войны не рванули сразу же в Ленинград. Чего выжидали? Недели две мы продолжали жить в Подоспе, и, помнится, она, как и другие деревенские жители, её родственники, обречённо рассматривала перспективу грядущего жития «под немцем». Но всем казалось, что это наступит ещё не скоро. Но вот в деревню дошли слухи, что немец под Псковом, и стало тревожно. А тут ещё пришло письмо от отца. Он писал: «Немедленно выезжайте из Подоспы. Пробирайтесь в Ленинград. Используйте любой попутный транспорт. В крайнем случае, идите пешком». В письме был указан маршрут, которым нам следовало идти, помнится, там были названы города Луга и Красное Село. До Питера из Подоспы, считалось, двести вёрст. Мне было десять лет...

В Питер из Подоспы никто никогда пешком не хаживал. Тётя Вера, однако, засобиравшись. В Подоспе жила ещё одна ленинградская дачница, её родственница Настя Штепкина с сыном Витей, мальчиком лет двенадцати. Они посоветовались и решили добраться сначала до Гдова, а там будет видно. Если поезда не ходят, вернёмся назад, в деревню.

На следующий день рано утром мы вышли из Подоспы. Стояла жаркая солнечная погода. Это было, пожалуй, начало июля, точнее сказать не могу. С нами шли Верина сестра тётя Уля (она провожала нас), Настя с сыном и баба Стеша. Вещи везли на тележке, её тащили Фрезер и Стеша. Вера и Уля несли заплечные мешки.

До Гдова было двадцать вёрст. На первых же километрах, ещё не дойдя до Мазихи, я смертельно устал, жара донимала, предстоящий путь казался



Роальд Клемент в годы Великой Отечественной войны вместе с родителями был эвакуирован в Елабугу, где закончил 3, 4 и 5-й классы средней школы им. Куйбышева. В дальнейшем вернулся в Ленинград, после окончания десятилетки служил в Советской Армии, демобилизован лейтенантом-связистом. В 1959 году окончил медицинский факультет Тартуского университета, работал врачом-анестезиологом в городах Пскове и Ленинграде, кандидат медицинских наук. Заведовал Лабораторией клинической физиологии дыхания во ВНИИ пульмонологии в Ленинграде. Автор ряда повестей и рассказов в основном автобиографического характера. Представляют интерес воспоминания о военных годах, проведённых в Елабуге, отрывки из которых здесь публикуются

нескончаемым, мучительно хотелось пить, но я продолжал идти...

Солнце стояло в зените, когда мы по лесной дороге брели через лес, и тётя Вера, подбадривая меня, сказала, что скоро кончится лес, а там и Гдов недалече. Но преодолеть эти последние километры, казалось, я не смогу – еле переставлял ноги.

Тут нас догнал какой-то грузовик, и мы посторонились, чтобы дать ему проехать. Он обогнал нас и вдруг остановился. Из кабины выскочил военный, обернулся к нам и закричал:

– Садитесь!

Мы подбежали. Говорим:

– У нас тележка, мы не можем...

– Ерунда! Эй, ребята, тележку в кузов! Да помогите им забраться!

С машины соскочили два солдата, подхватили нашу тележку с вещами, задвинули её в кузов, потом посадили и нас туда же. И машина помчалась в Гдов. Через десять минут мы были у станции железной дороги.

Что тут творилось! Вокзальная площадь была забита народом. Сидели на узлах, на телегах, прямо на земле. Все ждали чего-то. Мы сгрузили наш багаж около вокзального домика, и тётя Вера с Фрезером пошли разузнать, будет ли поезд на Ленинград. Оказалось, билетов не продают, поезда не ходят, но пустой пассажирский состав стоит на путях около станции. Из разговоров в толпе выяснилось, что вагоны эти стоят второй день, паровоза нет, и никто не знает, свободен ли путь на Ленинград. Толпа, однако, не расходилась, надеялись на чудо – а вдруг дадут паровоз, объявят посадку и состав помчится в Ленинград...

Тётя Вера и Уля пошептались между собой, переговорили с Настей и решили ждать, что будет. Мы с Фрезером и Витей между тем осмотрелись и стали прислушиваться к разговорам. В толпе оживлённо обсуждался один вопрос: «Взят ли уже Псков?» Если взят, то с часа на час здесь можно ожидать немцев – до Пскова сто километров, прямая железнодорожная линия, они могут до-

ехать досюда за два часа. Гарнизона в Гдове нет, одна погранзаезда, город возьмут без боя.

Тут наше детское внимание привлекла необыкновенная картина. Через свободную от народа часть площади вооружённые винтовками люди вели двух немцев. Они были одеты в зелёные распахнутые на груди мундиры, руки их были связаны за спиной. Штыки винтовок упирались им в спины. Они шли, нагло глядя перед собой, и презрительно улыбались. Их провели куда-то в сторону реки. По толпе прошёл шепоток: «Диверсантов поймали...»

День клонился к вечеру, когда со стороны Пскова на бешеной скорости примчался паровоз. Отдуваясь паром, он затормозил перед вокзалом, машинист выглянул в окно, выругался и стал подавать частые гудки. К нему выбежал начальник станции в красной шапке. Они долго о чём-то совещались, потом вместе ушли в здание вокзала.

Через полчаса начальник вышел на площадь. Он встал на садовую скамейку у вокзальной стены и поднял руку. Всем хорошо была видна его красная шапка. Шум стих. Начальник заговорил:

– Я вас прошу об одном: никакой паники. Касса сейчас начнёт работать. Ночью поезд пойдёт в Ленинград. Берите билеты и садитесь в вагоны. Я дам отправление, когда станет совсем темно. Дорога опасна, летают немецкие самолёты. Паровоз сейчас возьмёт уголь и воду, машинист согласен провести состав...

Что тут началось! Площадь зашевелилась, люди повскакали со своих мест, подхватили свои узлы и кинулись к вагонам. О том, чтобы взять билеты, никто и не думал, важно было одно – пролезть в вагон и занять место.

Если бы не тётя Уля, место нам досталось бы в лучшем случае в тамбуре вагона. Она с чемоданом (с тележкой мы распрощались) пробивалась в гущу народа к вагонной двери, мы с вещами жалась к ней, стараясь не потерять в толкотне друг друга. По ступенькам вагона Уля вскарабкалась на четвереньках, пи-

хая перед собой чемодан. Потом обернулась, протянула мне руку и втащила меня на площадку. В давке мы кое-как протиснулись в вагон и остановились у первой боковой полки – дальше пути не было, вагон был забит народом. Фрезер поднял голову, увидел, что верхняя боковая полка пуста и быстро залез на неё. Вера посадила меня к нему, сама примостилась на вещах в проходе. Уля кое-как выбралась из вагона.

Мы с Фрезером лежали на верхней полке ногами друг к другу и разглядывали в окно вереницы военных эшелонов, скопившихся на запасных путях. На открытых платформах была навалена драгоценная, как нам казалось, военная амуниция: сёдла, ранцы, ремни, колёса. Наверно, это было имущество какого-то конного полка. Незаметно для себя, истомлённые этим мучительно-трудным днём, мы заснули на голых досках, без матраца и подушек, и не заметили, как поезд тронулся в путь.

* * *

Рано утром тётя Вера растолкала нас:

– Вставайте, приехали! Ленинград!

Да, это был Варшавский вокзал Ленинграда. Мы дотащили вещи до трамвайной остановки и через полчаса были у себя дома, не совсем ещё осознавая чудо нашего стремительного перемещения из обречённой на оккупацию Подоспы в ещё благополучный в начале июля Ленинград.

Нашему приезду никто из домашних не удивился: «Ну, наконец-то явились. Что же вы раньше не ехали? Не могли наотдыхаться?» Тётя Вера ничего не умела на это ответить. Кто ж мог знать в отрезанной от внешнего мира патриархальной Подоспе, что немец в две недели окажется под Псковом?

В Ленинграде поразило то, что все стёкла в окнах были заклеены крестнакрест полосками белой бумаги. А по вечерам над городом поднимались на тонких тросах наполненные гелием беспилотные аэростаты. Сотни их висели в

небе на высоте до километра всю ночь. Удерживающие их тросы должны были помешать свободному полёту над городом вражеских бомбардировщиков. В остальном всё было как всегда.

Через несколько дней после нашего приезда мама начала вышивать на моём белье, одеяльце и штанишках моё имя и фамилию: «Клемент Раля». Я спросил:

– Мама, зачем эти надписи?

Мама долго не могла ничего выговорить, а потом сказала:

– Нам, сыночек, придётся расстаться. Ты поедешь в лагерь.

И слезинка упала из её глаз на работу.

Да, тогда, в самом начале войны был отдан приказ: вывезти детей за Урал. А я обрадовался. Я уже читал про детские пионерские лагеря. Это же будет так здорово!

Судьба распорядилась по-другому: через несколько дней папа сообщил, что Институт физики, где он работал, поедет в эвакуацию. Семьи надо взять с собой. Поедем в Казань.

Сразу начали собираться. Суровый отец огласил приказ институтского начальства: «С собой брать только самое необходимое». Мама бережно уложила в чемоданы одежду, постельное бельё, полотенца, одеяла, обувь, чашки, тарелки, ложки, кастрюльки... Помню, как мы с мамой бегали по магазинам, чтобы отоварить продуктовые карточки – надо было запастись продуктами на дорогу. Я слышал краем уха, как отец и мама решали важный вопрос: кто, собственно, с нами поедет? Мама предлагала взять с собой бабушку Варю (это мамина мама). Отец такой вариант сразу же отверг: её нельзя считать членом семьи. А вот тётю Веру надо взять обязательно, считал отец, она будет нам очень полезна, без прислуги будет трудно наладить жизнь на новом месте. В этом он был, как всегда, прав, вот только бабушка Варя умерла от голода в блокаду.

19 июля 1941 года с утра нам, детям, было сказано дежурить внизу у подъезда, за нами приедет машина, отвезёт

нас с вещами на воинскую платформу для погрузки в эшелон. Несколько часов мы с Фрезером томимся в ожидании этой машины и, когда она наконец подъехала, прыгая через две ступеньки кинулись наверх, на четвёртый этаж с радостным криком «Приехали!»

Воинская платформа находилась в конце Полтавской улицы, в пяти минутах езды от нашего дома. В кузове грузовика со всеми вещами мы отправились в этот недолгий путь. Отъезжая от дома, я оглянулся на наши окна и увидел бабушку Варю, которая махала нам из окна платком...

Платформа, на которую мы приехали, представляла собою неширокую площадь, по краям которой пролегли железнодорожные пути. На рельсах слева от площади стояли четыре «теплушки» – двухосных товарных вагона. Рядом с ними на площади высилась гора громадных ящиков, это было оборудование Института. Мы сгрузили наши вещи рядом и пошли смотреть вагоны. В одном из них были двухэтажные нары, остальные пустые. Несколько институтских семейств сидели на своих вещах неподалёку. Отец подошёл к ним и поздоровался.

Скоро стали прибывать и остальные отъезжающие, а затем пришла бригада грузчиков и началась погрузка.

Мы тем временем присмотрелись к нашим спутникам. Некоторые, как и мы, ехали со своими домработницами. Оказалось, что мы везём вещей меньше всех. Одна семья ехала со всеми своими родственниками и несметным количеством барахла. Мама отвела отца в сторонку и взмолилась: «Мы от дома недалеко, я еще успею, сбегая, возьму хоть швейную машинку, ну что мы едем с пустыми руками, вон люди всё, что нужно, с собой везут...» Отец разрешил, и мама скоро вернулась со швейной машинкой «Pfaff». Машинка эта и сейчас цела, исправно работает...

Начальником эшелона был назначен Вильнер, руководитель экспериментальных мастерских Института. Он быстро распределил места на на-

рах теплушки, нам досталась верхняя полка справа от входа. Рядом со мною, ближе к окну, лежала молодая женщина с грудным ребёнком. Меня мутило от запаха грязных пелёнок, но делать было нечего, вагон переполнен. Ещё до отъезда перед нами встала мучительная проблема: день был жаркий, всем хотелось пить, а запасы на дорогу воды никто не догадался. Я помню, как кто-то принёс со станции чайник кипятка и раздавал всем по несколько глотков горячей воды. Понимая, что чайника на всех не хватит, тётя Вера от воды отказалась...

Потом наши вагоны отогнали на Сортировочную и прицепили к большому эшелону. Впереди нас был такой же товарный вагон Публичной библиотеки, с ними вместе нам предстояло ехать до самой Казани. За два дня доехали до Москвы, где несколько дней простояли на запасных путях, жгли костры, пытались себе что-то приготовить на огне. Ночью немецкие самолёты бомбили Москву, по небу металась лучи прожекторов. Нам было сказано спрятаться под вагоны, но сидеть там, скорчившись, никому не хотелось, мы вылезли и, задрвав головы, стали наблюдать красочную картину ночного сражения...

* * *

В конце июля прибыли в Казань. В главном здании Университета нас разместили в актовом зале, потом отвели нам аудиторию на верхнем этаже.

В этой аудитории прожили примерно месяц. Кроватей на всех не хватило, я спал под боком у тётки Веры. Казань тогда исходила вдоль и поперёк. Обеды варить было негде, питались всухомятку тем, что можно было купить в магазинах или на рынке. Голода тогда ещё не было. Я помню, что в ларьках на пристани у татар можно было купить мёд. Полулитровая банка хорошего мёда стоила 15 рублей. По улицам ходили такие же, как в Ленинграде, трамваи. Отличие было в том, трамвайные рельсы были проложены по казанским хол-

мам, с довольно крутыми в некоторых местах спусками и поворотами. Нам с непривычки было страшно ездить по таким путям. Главная улица им. Баумана, с высоченной кирпичной колокольней в начале, упиралась в Кремль. То, что где-то на западе идёт война, в Казани в те дни ещё не чувствовалось.

Во время этого «казанского сидения» мы ждали, что нашему институту отведут место, нас расселят по квартирам, родители будут ходить на работу, а мы, дети, – в школу. Но вот пронёсся слух: Казань переполнена, места нет, надо ехать дальше. Через несколько дней слух этот подтвердился приказом – ехать в Елабугу! Институтская ребятня обрадовалась – снова едем! Что такое «Елабуга» представляли смутно. Институтские знатоки объяснили, что это маленький старинный городок на Каме, ехать придётся на пароходе.

В Елабугу были отправлены два институтских эмиссара, чтобы на месте выяснить условия для размещения Института и проживания семей сотрудников. Через неделю они вернулись. Оказалось, в Елабуге дома по преимуществу деревянные, но есть одно большое прекрасное каменное здание, в нём размещается Педагогический институт. Здание столь обширно, что свободно сможет вместить и Институт физики. С городскими властями достигнуто соглашение о размещении там нашего института. Для семей эвакуированных подысканы помещения в одну-две комнаты, которые можно арендовать у местных жителей.

Волжско-Камское пароходство выделило нам пароход «Дюканов» для перевозки оборудования, багажа и сотрудников. Два дня «Дюканов» простоял под погрузкой, наконец, объявили – срочно явиться и занять места на пароходе. Была уже ночь, когда мы покинули гостеприимный Казанский университет и явились на пристань с вещами. При тусклом свете пароходных огней разместились по каютам, а когда выглянули на палубу, оказалось, что пароход уже плывёт по Волге. Это было 20 августа 1941 года.

Недолгая поездка на пароходе врезалась в память. Живописные берега Волги, городишки и пристани по сторонам, потом вход в Камское устье, и путь вверх по Каме. «Дюканов» был старый колёсный пароход, но после путешествия в теплушках нам он казался шикарным. Мы, мальчишки, исследовали его весь, обошли кругом по верхней галерее, спустились на нижнюю палубу, заглянули в трюм, где гудели форсунки, сжигавшие нефть, а на поворотах тарактелла рулевая машина. На камских мелях пароход пробирался медленно, два матроса на носу шестами мерили глубину и кричали промеры навверх капитану, почти как во времена Марка Твена...

* * *

22 августа утром слева по борту показались три белые колокольни, и мы причалили к елабужской пристани. Крутой обрыв над пристанью уходил вверх, там маячила одинокая крепостная башня. На прибрежной дороге нас ожидал обоз с пустыми телегами, на которых мы и доехали до Пединститута. Здесь оказалось, что в институте для каждой семьи уже отведена отдельная комната, где мы и жили первые дни, пока не разъехались по городским домишкам. Согласно спискам расселения семей сотрудников, нам предстояло поселиться по адресу: улица Ленина, 44.

Это была довольно ветхая небольшая приземистая изба с русской печью посередине. Она стояла в глубине участка за высоким дощатым забором с высокими воротами и калиткой. Хозяйка, одинокая старая женщина, жила в «новом» доме с окнами на улицу. В глубине участка два сарая, за ними огород и банька. Когда-то это была довольно богатая усадьба, в сарае стояла лошадь и другая скотина, но хозяин давно умер, а хозяйка пережила революцию и теперь доживала свои дни, подрабатывая портняжной работой. Когда наступили холода, она по заказу мамы сшила мне из старого брезента простенькое зимнее пальто на вате.



Юный Роберт

Когда мы перетасили свои вещи в избу, поняли, что нас ожидают нелёгкие времена. Электричества не было, воду надо было носить вёдрами на коромысле за триста метров, готовить пищу в русской печи. В доме ни стульев, ни табуреток... В сарае нашлось несколько чурбаков, на которых когда-то кололи дрова, они и служили нам сиденьями на первых порах. Спокойно отнеслась к этому новому для нас образу жизни одна только тётя Вера. Это была родная, привычная для неё деревенская жизнь. На неё и легли все тяготы сурового елабужского быта военных лет.

В углу за печкой нашлась кочерга с длинной деревянной ручкой, деревянная лопата – сажать в печь хлеба и два ухвата разного калибра. Вера открыла печную заслонку – в печи стояли два пустых прокопчённых чугуна, один большой, другой поменьше. Она улыбнулась – чего ещё надо! Открыла шиберку, скрутила жгут из газеты, подожгла и поднесла к жерлу печи. Пламя

потянулось в глубь печки – тяга, значит, хорошая, печь была жива! В углу у входа стоял большой чугунный котёл, ясно было, что он для воды. Вера взяла у хозяйки вёдра с коромыслом и пошла за водой. Потом мы обзавелись собственными вёдрами, но сначала приходилось брать у хозяйки.

Мама с первых дней начала работать. Работа нашлась в здании Педагогического института. Там разместились военные курсы радиотелеграфистов. Ученицами были девушки в военной форме, их было много, примерно две роты, по городу они ходили строем, чёткими прямоугольниками, строго держа равнение в шеренгах. Я помню песню, которую они распевали в строю:

**Распростился с Дуней чернобровой
Около мосточка у реки.
И сказал он Дуне той бедовой:
– Дуня, иду я в моряки!**

Потом курсы закрылись, девушек отправили на фронт, они стали военными радистами. Многим из них не суждено было вернуться домой.

Так вот, на этих курсах и нашла работу наша мама. Работала она то ли делопроизводителем, то ли счетоводом, нашлась какая-то должность, не требующая специальных знаний. Так или иначе, но мама, как и папа, с утра уходила на работу, а я оставался с тётей Верой и был свидетелем всех её неустанных забот о нашем хозяйстве.

Во-первых, встала проблема с дровами. На первое время хозяйка дала немного, но они скоро кончились. Вера расспросила соседей, оказалось, можно принести из леса сучьев. Лес был недалеко, километрах в двух. Это был молодой сосновый лес, «посадка». Нижние сухие сучья разрешалось обламывать, они хорошо горели. День тёти Веры начинался с похода в лес за сучками. Она приносила их на спине, целую большую вязанку, этого хватало на день, завтра надо было снова отправляться в лес.

Позже Вильнер, завхоз Института, договорился с лесничеством, и нам выдали порубочный билет на заготовку дров в лесу. Предприимчивый завхоз



Елабужский педагогический институт

к тому времени уже приобрёл для Института лошадей, и вся наша семья отправилась на телеге за дровами. Меня оставили дома, я истомился, ожидая их возвращения. Наконец, уже по темноте, они приехали и привезли три огромных толстых дубовых кряжа. Оказалось, что лес, где нам отвели участок для порубки, был знаменитый Шишкинский дубовый лес. Кряжи эти мы с тётёй Верой потом с великими муками распиливали старенькой тупой хозяйкиной пилой. Мне было десять лет, силёнок у меня было мало, терпения не хватало, но пилил...

Потом, уже зимой, Вера как-то прослышала, что дальние соседи ищут пильщиков, кто бы распилит им дрова. Вере не хотелось упускать заработок, но напарника не находилось. Тогда я согласился пойти с нею. Мы взяли всё ту же хозяйкину пилу и пришли наниматься. Нам пообещали 30 рублей, и мы

согласились. Дрова оказались чурками в обхват толщиной. Тупая наша пила углублялась в дерево страшно медленно. В полчаса мы сделали кое-как один рез. Нанимательница, такая же эвакуированная, как и мы, смотрела на нас из окна. Потом вышла, сказала тётё Вере: «Не мучьте мальчика, возьмите деньги, мы сами потом перепилим...» И протянула Вере красную тридцатирублевку. Вера посмотрела на меня:

– Раля, будем пилить?

– Будем! – самоуверенно заявил я. Поздно вечером, уже по темноте, мы закончили работу. Я был в полном изнеможении. Нам заплатили 50 рублей.

Это были не бог весть какие деньги – инфляция стремительно нарастала. Пуд картошки к зиме стал стоить 300 рублей, потом 500, потом 800, а через год цена на рынке установилась в 1000 рублей. Примерно такова была месячная зарплата институтского профессо-

ра. Тётя Вера перед войной работала у нас домработницей за 30 рублей в месяц. В Елабуге родители молча решили, что ей можно ничего не платить. Вера ничего не сказала. Теперь меня сжигает стыд за эту несправедливость.

Тот же неугомонный Вильнер купил в совхозе поросят. Шаг благоразумный: поросята к зиме подрастут, и сотрудники Института будут с мясом. Большинство поросят было чуть больше хозяйкиного кота. Что с ними делать, как ухаживать и чем кормить, никто в Институте не имел представления. Поросят раздали сотрудникам, обрисовав радужную перспективу превращения этой крохи в пятипудового великана. Но многие решили, что давно не пробовали поросёнка с хреном, и тут же пустили их на жаркое.

Клементы были одни из немногих, кто поступил иначе – ведь у нас была тётя Вера. Поросёнку тут же устроили загон в сарае, кинули ему соломы, а с наступлением холодов превратили этот загон в тёплую конуру. Вера принялась откармливать скотину, обмывала, чесала скребницей. Отходов от нашего стола практически не было никаких, только картофельные очистки. Но в Елабуге был спиртзавод, отходы производства – «барда» свободно продавалась населению. Это была бурая, не очень густая, остро пахнущая жидкость. Наверно это были остатки браги, из которой перегоняли спирт, скотина её очень любила.

Многие из местного населения держали скотину. Около спиртзавода за бардой выстраивались очереди, случались и драки. Тётя Вера стала ходить за бардой с ведрами. Однажды пришла домой чуть не плача – местная тётка оттолкнула её от крана и опрокинула ей ведро с бардой. Вера не сдавалась, и её трудами к зиме наш Васька стал большой, по колено взрослому человеку свиной. Установились морозы, и решено было его зарезать, а мясо заморозить.

Я помню, как резали Ваську. Мама прислала с курсов сержанта, который согласился взяться за это дело. Он пришёл с небольшим финским ножом. Увидев нашего поросё, он удивился:

«Так его же этим ножом не нарежешь!» Я принёс ему от соседей полуметровый армейский тесак. Смирный, привыкший к людям Васька, доверчиво дал себя заковать...

Замороженной свинины хватило нам на всю зиму. На Вере лежало и приготовление каждодневной еды. Свинину она расходовала экономно, чтобы хватило до весны. К этому времени мы уже обросли приличным кухонным хозяйством. У нас была большая корчага для супа, несколько печных горшков поменьше, две сковородки, кастрюльки, рукомойник, собственный чайник. Приготовление пищи в русской печи было хоть и знакомым для тёти Веры делом, но дело это было очень трудоёмкое. И отец решил сложить на кухне небольшую плиту. Дверцу и лист с конфорками подыскали на барахолке. В овраге накопили глины. Два десятка старых кирпичей я насобирав на свалках, ещё несколько штук нашёл на чердаке бани. В печи было круглое отверстие для самовара, в него вывели дымоход. Отец, хоть и был интеллигентом, но считал, что для физика сделать небольшую плиту вполне по силам. И плита, действительно, получилась на славу. Теперь для приготовления супа или чая не требовалось растапливать большую печь, её топили только для тепла. Тётя Вера могла вздохнуть свободней.

Большие неудобства для неё по-прежнему представляло мытьё посуды. В деревне суп ели из общей миски, которую ставили посредине стола. Клементы ели каждый из своей тарелки. После еды всю эту посуду тёте Вере надо было перемыть. Горячую воду приходилось экономить, холодная не смывала жир, хозяйственное мыло мылилось плохо, а другого не было. Посуду приходилось мыть в тазике – это была морока!

Редкие письма приходили Вере из Армии, каждое было событием. Письма от сына Вани, он был на фронте, служил в зенитной артиллерии. А нам пришло одно-единственное письмо от бабушки Вари из блокадного Ленинграда. Она писала карандашом на обрывке тетрадь-

ной страницы в клеточку. Разобрать, как она и что с нею, было трудно, но ясно было, что она уже очень слаба.

Основную нашу пищу составляла картошка и выдаваемый по карточкам хлеб. У отца и мамы были рабочие карточки, у остальных иждивенческие. В целом на нашу семью это составляло буханку хлеба в день. Может быть меня, десятилетнего, берегли и старались подкармливать, но настоящего голода я не помню. Есть, правда, всегда немного хотелось, и поедалось всё съедобное, что попадалось под руку: луковица, огурец, морковка с соседского огорода, сырая свёкла. В школе каждый день ученикам выдавали по маленькому кусочку хлеба, это лакомство съедалось мгновенно. Но судя по фотографиям тех лет, я не был исхудавшим, щёки у меня были округлые. А вот тётя Вера, выполнявшая большой объём физической работы, страшно отошала. Одежда на ней болталась, щёки запали. Но она продолжала трудиться, не покладая рук.

Сажать картошку, когда мы приехали в Елабугу, было уже поздно, лето на исходе. Но уже следующей весной, когда сошёл снег, мы получили участок за городом для посадки картошки. Его надо было вскопать. Участок был, как теперь вспоминаю, сотки две или три размером. Всей семьёй принялись мы за эту работу, копал и я, но толку от меня было не много. Лучше всех дело спорилось у тёти Веры и Фрезера, копали и папа с мамой...

Купили картошки помельче на семена, и засадили наше поле. Время от времени ходили смотреть, ждали, когда картошка взойдёт. Большой радостью были первые зелёные ростки. Я думал, что теперь надо ждать урожая, но тётя Вера сказала, что работы ещё много – картошку надо окучивать. Она и занялась этим делом, когда подошли сроки: каждый день, когда выдавался свободный час, бежала с лопатой за город на наше поле. В августе она попробовала картошку подкапывать, и принесла домой корзинку первой молодой картошки. Помню, как мы ели её за ужином, какая

в растительное масло, то-то была радость! С тех пор картошку сажали мы каждый год. Последний урожай в 1944 году так и остался не собран, в июле мы вернулись в Ленинград.

* * *

Но пока до этого ещё далеко, надо было продержаться три долгих полугодных года. По радио и в местной газете было объявлено, что очень полезной и вкусной пищей являются лебеда и крапива. Эти растения даже заготавливала елабужская контора «Торгплодоовощ». В столовой на Карла Маркса за бесценок можно было получить тарелку пустых щей из крапивы. Мы с отцом стали ходить туда обедать. Как-то я шёл в эту столовую по Карла Маркса, в руке у меня был завернутый в бумагу порядочный ломоть хлеба. Я уже подходил к столовой. На тротуаре, прислонясь к стене, сидел моих лет оборванный мальчишка. Когда я проходил мимо, он вскочил, вцепился руками в мой хлеб и тут же отломил половину. Бешенство вскипело во мне, я размахнулся и изо всех сил ударил его кулаком в ухо. Он качнулся, слёзы выступили у него на глазах, он стоял молча и, как мне показалось, с укоризной глядя на меня. Мне стало жаль его. Хлеб мой он тут же съел с бумагой вместе.

Тётя Вера не упускала возможности заработать какие-то гроши, рвала лебеду, обильно росшую у нас во дворе и за огородом, и сдавала её в «Торгплодоовощ». Нам тоже варила суп с лебедой. Когда клала туда немного мяса и картошки, то получалась вполне приличная похлёбка. Но, помнится, суп с молодой крапивой был всё-таки вкуснее.

Начиная со второго нашего елабужского лета, мы стали держать кроликов. Первой у нас была крольчиха Машка. Она жила в сених, в кладовке. Днём свободно паслась во дворе, где росло много травы. Когда она принесла помёт, и крольчата подросли, их тоже стали выпускать на травку. Я присматривал за ними, любил с ними играть, брал на

руки, рассматривал их красные глазки. Тётя Вера приносила им с лугов вкусно-го клевера. Увы, уберечься от несчастья не удалось – хозяйская кошка сожрала одного.

Кроликов у нас развелось много, штук пятнадцать, зимой они жили в хозяйском сарае в втором этаже, оттуда они не могли убежать. Когда я приносил им картофельные очистки, они гурьбой сбегались к моим ногам и принимались за еду. Лакомством были для них наружные капустные листья от кочанов. Сено подбирали подчистую. Летом беременных крольчих переселяли на землю, на нижний этаж того же сарая, где они отрывали норы и выводили в них крольчат. Увы, многие крольчата гибли от кокцидиоза, заразной кроличьей болезни.

Молока в Елабуге почти невозможно было достать. Но тётя Вера приспособилась кормить нас дешёвым снятым молоком – «прогонкой». Это была водянистая белая жидкость, которая остаётся в сепараторе, после того, как отделят от молока сливки. По вкусу она напоминала молоко. Сепаратор находился недалеко от нашего дома, но желающих купить прогонку было много, приходилось выстаивать в очереди. Тётя Вера была терпелива, прогонка почти всегда была у нас в рационе. Да и каша на прогонке была вкуснее, чем на воде.

Весной, как только начинало пригревать солнышко, тётя Вера устраивала за сараями на солнцепёке грядки для огурцов. В Елабуге огурцы хорошо росли в открытом грунте, лето там обычно очень жаркое. Но забот и ухода они требовали много – прополка, ежедневная поливка. Зато когда она приносила в переднике первые зелёные огурчики, мы после унылой зимней пищи получали натуральные живые витамины. Хорошо росли у нас в огороде и тыквы – вырастали до огромных, в обхват, размеров. Тыквенная каша приятно разнообразила по осени наш рацион.

Нашла тётя Вера и ещё один способ добычи подножного корма. Это были пшеничные колоски. Осенью, когда

поля уже убраны, их можно было найти на земле, если побродить по полю. Огромное, на несколько километров вширь пшеничное поле простиралось между окраиной города и лесом. Тётя Вера взяла корзинку и пошла из города в сторону леса. Она не знала, что уже вышло зловещное постановление партии и правительства «О колосках», а на улице Маркса висит плакат, где крупными красными буквами написано: «За колоски – под суд!»

Вера прошла по полю из конца в конец и насобираала полкорзинки колосьев. Дома она вручную вылушила эти колосья. Получилась миска пшеничных зёрен. Она сварила из них кашу, полила её постным маслом и подала нам на ужин. Каша получилась жестковата, зёрна похрустывали на зубах, но есть было можно. Мы съели весь котелок. На следующий день Вера отправилась на поле снова.

Когда дошла до середины поля, в корзинке уже было две горсти колосков. Тут она заметила, что со стороны леса к ней приближаются два всадника. Она не придавала этому значения и продолжала отыскивать колоски. Всадники подъехали ближе, они почти наехали на неё своими конями.

– Ты что тут делаешь, тётка?!

Вера посмотрела на них. Это были мальчишки лет пятнадцати-шестнадцати. Их послали ловить таких, как она. Не понимая, что она совершает сейчас государственное преступление, за которое ей суждено отбывать срок в лагере, Вера ответила:

– Собираю колоски...

Тот, что постарше, крикнул ей:

– Ты что, с ума сошла?! Знаешь, что тебе за это будет?

– Так они же всё равно сгниют под снегом, кому они нужны?

– А пять лет не хочешь?! Дай сюда корзинку!

Вера протянула корзинку ему. Он схватил её, перевернул, вытряхнул колосья на землю. Поддал корзину ногой, она отлетела прочь.

– Катись отсюда! И чтоб ноги тво-

ей на этом поле больше не было! – Развернули коней, поскакали к лесу.

Перепуганная Вера подобрала корзинку, пришла домой. Рассказала мне, что с нею было. Сварить на ужин решила тыквенную кашу... За ужином, обсуждая этот эпизод, решили, что она ещё легко отделалась, мальчишки попались хорошие.

Одно время были у нас перебои с мылом. Тогда отец задумал сварить мыло своими силами. Достал у химиков в институте «мыльный камень», который оказался никакой не камень, а прозрачная густоватая жидкость, едкий натр. У нас как раз были отходы от зарезанного недавно поросёнка – несъедобные потроха, жилки, уши, хрящи. Это было как раз то, из чего делают хозяйственное мыло. Теперь уж не помню, какова была технология этого мыловарения, но, в результате, получилась густая вязкая масса коричневого цвета. Она лежала на дне цинкового тазика. Пахла ужасающе. Не знаю, была ли она скользкой, – взять её в руки никто так и не решился.

У тёти Веры как раз была стирка. Как стирать без мыла? Вера знала способ: выгребла из печки побольше золы, засыпала её в большой банный котёл, залила водой, перемешала. Дала настояться, потом осторожно, чтобы не взболтать, вычерпала этот настой ковшиком в большую кастрюлю. Это был щёлок, скользкая едкая жидкость, она подливала её в корыто для стирки, бельё получалось чистым без мыла.

С отцовским изобретением дела по стирке белья пошли лучше.

В те годы Елабуга ещё не знала автомобилей. Я помню, как мы, мальчишки, завидев за кладбищем легковую машину, долго бежали за ней, пытались догнать, чтобы прокатиться на заднем бампере. Все перевозки в городе осуществлялись на лошадях. Лошадей было много, зимой их запрягали в сани, летом в телеги. Большая конюшня была в конторе «Торгплодоовощ», где стала работать мама после того, как курсы радиотелеграфистов расформировали. Четырёх лошадей купил предприимчи-

вый Вильнер для Института физики. Я после ленинградского городского життя не мог наглядеться на этих лошадей. Как они были красивы, как умны, как быстро мчались по немощёным елабужским улицам! Мне так хотелось прокатиться на телеге, а взять самому в руки вожжи было пределом мечтаний.

Скоро такая возможность представилась: маме по делам надо было поехать куда-то за город, ей дали лошадь и бричку, и она взяла меня с собой. Я сидел впереди, я правил лошадьё! Потом часто ездил один по маминым поручениям. Мама работала «инструктором по дикорастущим», в её ведении была заготовка щавеля, дикого лука, лебеды, крапивы, – всего, что растёт само по себе. Для этого надо было организовать местное население на сбор этих «дикорастущих». Часто целые классы школьников бросали занятия и отправлялись «на заготовки». Конюх давал лошадь с телегой и ящиками, чтобы везти собранные травы, я садился впереди и брал в руки вожжи. Выучился сам запрягать лошадь и, кажется, мог бы проделать это и сейчас. Умел запрягать и папа, он молодым парнем батрачил на хуторе в Эстонии. О тёте Вере и говорить нечего, она выросла в деревне.

Чтобы вывезти с нашего картофельного поля собранный урожай, папа брал институтскую лошадь. Мне доверяли запрячь её и самому приехать на поле – я был счастлив! Обрато лошадь везла нагруженный воз, я понимал, что ей тяжело, и на телегу не садился, шёл рядом, вожжи в руках. Папа, увидев эту картину, рассмеялся, а я подумал, что я что-то напутал в сбруе, и спросил:

– Чего ты смеёшься?

Он, улыбаясь, сказал:

– Всё в порядке... Ты у нас мужичок с ноготок.

* * *

Вторая наша елабужская зима была особенно тяжёлой. Хотя особого недостатка в пище не было, но, по-видимому, нам не хватало витаминов. Из овощей

у нас была только картошка и немного лука. Как-то, раздеваясь перед сном, я заметил у себя на левом бедре прыщик. Я не придал этому значения и никому ничего не сказал. Через три дня прыщик превратился в большой фурункул, он болел и чесался.

Я сказал маме. Она осмотрела ногу и промыла ранку марганцовкой. Через несколько дней фурункулов было уже три. Мама делала мне примочки из марганцовки, других лекарств не было. Мои детские кальсончики были в пятнах от гноя, и когда я их снимал и надевал, я невольно переносил заразу на свежие места. Скоро нога моя от бедра до пятки покрылась фурункулами. Какое счастье, что никуда дальше эта зараза не пошла, охватила только одну левую ногу. Врачу меня так и не показали, лечили одной марганцовкой. Да, наверно, и не было тогда в Елабуге никаких лекарств от такой напасти.

Я проходил с моими «болячками» до весны, потом они сами собой зажили, оставив на коже следы, которые видны и сейчас. Теперь я бы сказал, что всё же я был из нашей семьи самым слабым. Научное название этой болезни, как я теперь, после тридцати лет работы врачом, знаю – пиодермия, или гнойничковое заболевание кожи.

Как-то морозным сумрачным вечером той зимы я был один в доме. Окошки нашего невысокого дома были наполовину занесены снегом. В комнатах смеркалось, читать было уже невозможно, а лампу зажигать ещё рано – керосин надо было экономить. Вдруг я заметил, что за окнами промелькнул чей-то силуэт. Скрипнула и отворилась наружная дверь, кто-то прошёл через сени. Кто бы это мог быть? Я выглянул на кухню. Вот открылась входная дверь, и передо мною предстал какой-то плохо одетый человек. Молча смотрели мы друг на друга, наконец, он сказал:

– Что, Рая, не узнаёшь?

По голосу я узнал его – это был подсосопский Шурик, сын Ули, Веринной сестры.

Жаль, теперь я не могу припомнить всю удивительную историю его скитаний. Когда мы уезжали из Ленинграда, он оставался в общежитии ремесленного училища. Должно быть, ещё до блокады их эвакуировали на Северный Кавказ, потому что какое-то время он жил в Армавире на хуторе у казаков. Потом судьба занесла его на Волгу в Куйбышев. Там его арестовали как бездомного бродягу и посадили в тюрьму к уголовникам. На следствии он сказал, что едет к тётке в Елабугу. Каким-то чудом помнил наш адрес: «Ленина, 44». Денег у него давно не было ни копейки. Ему купили билет до Казани и отпустили. Никаких автобусов из Казани в Елабугу тогда не было. Как он смог добраться до Елабуги без денег, в худенькой одежонке, в лютые морозы – неизвестно. Господь вёл его по путям, известным Ему одному. Теперь Шурик стоял передо мною.

На нём был старенький ватник, шея обмотана полотенцем, на голове шапка-будёновка, на ногах плохонькие ботинки. Он был очень тощ. Я отрезал ему кусок хлеба, он схватил и быстро съел. Подошёл к печке, потрогал её, печка была горячая. Он скинул ватник и приник к ней всем телом. Я рассматривал его, он молчал – говорить у него просто не было сил. Сухие дрова лежали рядом, я стал растапливать плиту, чтобы согреть чайник и напоить его чаем. Тут отворилась дверь и пришла тётя Вера.

Шурик был принят в нашу семью и стал жить с нами. Его приодели, Вера обстирывала... Выхлопотали ему иждивенческую карточку и покупали на него продукты. А у Шурика была мечта – он хотел стать шофёром. Удивительно – в Елабуге, где и машин-то не было, была школа шофёров. Шурик стал в ней учиться. И выучился на автоводителя! Это и стало его профессией на всю жизнь.

Зимой 1943 года Шурика, как и Фрезера, призвали в армию. Им было по 17 лет. Их отправили на Дальний Восток. Потом оба они принимали участие в войне с Японией. После войны Шурик жил

в Кратово, под Москвой, работал шофёром. В 1986 году побывал у нас в квартире на Среднем проспекте, навестил меня, когда я валялся после инфаркта.

Три елабужские зимы – 1942, 1943 и 1944 годов были очень холодные. Мы, эвакуированные, раньше таких холодов никогда не испытывали. Я помню, что когда градусник показал минус 40, было объявлено, что занятий в школе не будет. А температура продолжала снижаться и дошла до минус 50-ти. Многие тогда поотмораживали носы и щёки.

Школа была близко, в одном квартале от дома. Когда морозы сдали до минус 30-ти, всем показалось, что стало совсем тепло. Я тоже решил, что морозы теперь не страшны, и отправился в школу без варежек. Руки быстро стали замерзать, я пустился бежать, но всё же, когда прибежал в школу, плакал от боли, так замёрзли руки. Помню, сидел в школьном коридоре, спрятав руки в подмышки, слёзы капали из глаз. Как я буду писать на уроке – пальцы не двигаются! Тут я увидел, что по коридору идёт одетая в пальто тётя Вера – она несла мне варежки...

* * *

В 1944 году сомнений в нашей победе ни у кого уже не было. От тётя Вериного Вани приходили письма откуда-то из-под Пскова. В Институте стали поговаривать о том, что скоро вернёмся в Ленинград. Когда открылась навигация на Волге, отец (он был теперь директором Елабужского филиала Института физики) поехал в командировку в Саратов, где находился тогда Ленинградский университет – надо было согласовать сроки реэвакуации. Оттуда он привёз приказ начать подготовку к переезду в Ленинград. Мало того, ему были отпущены деньги, необходимые для переезда Института, несколько сот тысяч рублей наличными – целый чемодан денег! Этот чемодан с деньгами он благополучно привёз в Елабугу.

Лето 1944 года было в разгаре, ког-

да начались сборы в дорогу. Институт загружал своё оборудование в ящики, семьи упаковывали вещи. Гора ящиков во дворе Пединститута росла, набралось больше 350-ти, их перевезли и сложили на берегу Камы у пристани. Мне было сказано всё своё детское барахло оставить в Елабуге. Но у меня же были поистине драгоценные вещи, нажитые «непосильным трудом»: удочка, французская берданка наполеоновских времён (она давала три осечки подряд, но на четвёртый раз всё-таки стреляла), немецкий штык-нож... Как с ними расстаться? Берданку у меня попросил Станислав Романовский, и я не смог ему отказать. Удочку пришлось оставить, желающих взять её не нашлось. Но штык-нож надо было обязательно довести до Ленинграда. И вот, когда мама зашивала в мешок старую раскладушку, я незаметно подсунул туда драгоценный штык. Дело было сделано.

Теперь я могу открыть тайну своего сердца, которую скрывал много лет: отъезд из Елабуги совсем меня не радовал. Дело в том, что я был крепко и надёжно влюблён в девочку из нашего класса, Валю Сметанину. Разлуку с нею, как мне казалось, я не смогу перенести. Как? Не видеть её, не слышать её голоса, не иметь возможности сказать ей иногда несколько ничего не значащих слов? – это было выше моих сил. Но отъезд неотвратимо приближался, я становился всё грустнее. Верный друг Станислав, который знал мою тайну, видя, как я страдаю, предложил пойти к Вале вместе со мною и всё ей рассказать. У меня не хватило смелости...

Наконец, было объявлено: завтра уезжаем. Последнюю ночь мы тревожно проспали в нашей избёнке, а рано утром мама взяла в Торгплодоовоще лошадь с телегой, мы сложили на неё наши вещи и потащились на пристань. Как же мы были удивлены, когда увидели у причала старого нашего знакомого – пароход «Дюканов»! Плыть на нём предстояло до Казани, там перегрузка в товарный состав и дальше по железной дороге до Ленинграда.

У пристани возвышалась гора институтских ящиков. Капитан парохода объяснил: «Согласно условиям фрахта час простоя под погрузкой будет стоить вам триста рублей, погрузку постарайтесь не затягивать». Институтская профессура подошла к ближайшему ящику, попыталась сдвинуть его с места. Не удалось. Никаких грузчиков на пристани не было. Вильнер решил бы эту проблему, но Вильнер год назад был сослан в Ханты-Мансийск. Положение становилось безвыходным. Владельцем груза формально был папа.

Среди сотрудников института был слесарь по фамилии Липатов, бывший балтийский матрос. Посмотрев, как институтские профессора пыхтят над ящиком, он подошёл к папе.

– Фёдор Дмитриевич, поручите это дело мне.

– А что вы сможете сделать?

– Своими силами ничего не сделаешь. Здесь есть лагерь военнопленных. Разрешите, я съезжу, поговорю с начальником лагеря.

– Хорошая мысль!

Липатов уехал в лагерь. Через час он привёл на пристань отряд пленных немцев, человек сто. Охрана с винтовками шла по сторонам отряда. Среди наших профессоров нашлись хорошо знающие немецкий язык, они объяснили немцам задачу. Мы с удивлением наблюдали, как ловко и слаженно принялись немцы за дело. Не было ни криков, ни ругани, ни суеты. Негромко переговариваясь между собой, разбившись на небольшие группы, они спокойно брали ящик за ящиком и относили их на пароход. Там другая группа подхватывала их и спускала в трюм. Я не помню окончания этой погрузки, потому что мы разошлись по каютам, но в середине дня пароход дал гудок, отчалил от пристани и пошёл вниз по Каме. Прощай, Елабуга!

Когда мы прибыли в Казань, наши отправились для переговоров в Пароходство. Подробностей переговоров не знаю, но в результате наш дальнейший маршрут изменился: выгружаться в Казани не будем, плывём до Москвы!

На пароходе папа как директор Института имел каюту класса люкс на двоих. В ней разместились мои родители, я и тётя Вера плыли третьим классом где-то в недрах парохода. Но днём мы по большей части проводили время в родительской каюте, там же и питались домашними запасами – кухни на пароходе не было.

Надо сказать, эта поездка превратилась в увлекательное путешествие. Погода стояла чудесная, все хорошо знали друг друга, многие были высокообразованными, талантливыми людьми. Весь пароход был в нашем распоряжении, салоны, пианино, внизу можно было принять душ. Капитан и два его взрослых сына вели пароход, семья его жила тут же на пароходе. Это были радушные, добрые люди. Они много рассказывали нам о пароходе, о реках, по которым плывём. Нам разрешалось подниматься на верхнюю палубу, посидеть на скамеечке перед капитанской рубкой, откуда открывался широкий обзор реки впереди парохода.

Тётя Вера днём выходила подышать свежим воздухом. На корме под навесом были скамейки для палубных пассажиров. Здесь образовался своеобразный женский клуб третьего класса. Все были знакомы друг с другом, проводили время за разговорами, и здесь я увидел редкое явление – улыбку на лице тётя Веры. Она была полна надежд: суровая елабужская жизнь кончена, впереди родной Ленинград...

Взрослый сын профессора Тверского, обаятельный парень, был знатоком хиромантии. На пароходе он развлекал институтских дам гаданием по руке – всем ведь хочется узнать своё будущее. Тётя Вера с любопытством поглядывала на него. Она сама была гадалкой по картам, я и сейчас помню её присказку, с которой она начинала гаданье: «тридцать шесть чёртиков, скажите, не солгите, правду-истину доложите, что будет, что случится, чим кончится, чим сердце успокоится...» Выбрав удобный момент, она подошла к нашему хироманту и протянула левую руку:

– Погадайте мне.

Он охотно выполнил её просьбу. Я стоял рядом, мне тоже было интересно, что он скажет. Он долго, внимательно рассматривал линии её руки. Потом, подумав, сказал несколько общих фраз про тяжёлое прошлое и долгую счастливую жизнь. Но когда Вера, поблагодарив, отошла, я услышал, как он прошептал стоявшим рядом Кватуру и Михайлову: «У неё удивительная рука, но её ждёт большое несчастье».

У меня тоже случилось «большое несчастье»: так ловко запрятанный мною в мешок с раскладушкой немецкий штык-нож при перекладывании вещей пропорол мешок и высунулся наружу. На мешке была надпись «Клемент». Штык извлекли из мешка и позвали отца. Тот крикнул меня. «Чей это штык?» Пришлось сознаться, что мой. Штык выбросили за борт...

В Нижнем была большая стоянка. Мы сошли на берег, погуляли по прибрежным улицам города. Капитан в полной форме отправился в Пароходство доложить о прибытии. Наш дальнейший путь лежал теперь по Оке и Москва-реке, где капитан раньше не плавал, и хотел взять лоцмана. Но лоцмана не дали, и ему пришлось вести пароход, опираясь только на собственный опыт судовождения, снижая по ночам скорость хода до «самый тихий».

С прибрежной горы мы любовались величественной панорамой устья Оки, на другом берегу которой раскинулся большой Сормовский паровозный завод. Вечером отчалили и пошли по Оке. В Москву прибыли 8 июля 1944 года. Речной вокзал, теперь уже развалившийся, был хорошо мне знаком по серии почтовых марок и по кинофильму «Волга-Волга». У причала этого вокзала мы и распрощались с «Дюкановым».

В Москве тогда вместе с тётёй Верой впервые побывали мы на Красной площади. Увидев храм Василия Блаженного, Вера перекрестилась. Удалось проехать и на метро (в Ленинграде метро тогда ещё не было). А вечером мы уже сидели в скором поезде Москва – Ле-

нинград, который наутро доставил нас на Московский вокзал в Ленинграде.

* * *

Город носил следы блокады и фашистских бомбёжек. Многие дома были в руинах. Нам хотелось поскорее увидеть наш дом на углу Лиговки и Жуковской, недалеко от вокзала. Увы, он тоже был разрушен, причем именно то крыло, где была наша квартира. Мы смотрели на него с другой стороны Лиговки, куда выходили пустые глазницы наших окон. Потом обошли дом со стороны Жуковской – окна здесь были целы. Мы отыскали управдома, им, как и до войны, была хорошо нам знакомая Белевич. Она провела нас по чёрной лестнице на наш четвёртый этаж и по не пострадавшему от бомбы коридору подвела к двери бывших наших комнат. Дверь была не заперта, мы открыли её. За дверью зиял пустой провал до первого этажа. На стенах наших комнат сохранились так хорошо знакомые мне обои, больше ничего не уцелело. Жить было негде.

Папа с нами дом не осматривал, он прямо с вокзала поехал в Университет докладывать о прибытии порученного ему филиала. Мы поехали вслед за ним, разыскали его в здании физфака. Он очень огорчился, узнав, как обстоят дела с квартирой. Тут же пошёл в хозяйственную часть Университета и испросил разрешения пожить пока в одной из аудиторий института физики. Занятия на факультете ещё не начинались, пустых аудиторий было много. Мы выбрали одну из них.

Это была светлая средних размеров комната. Нам выдали четыре кровати и кое-какую мебель. Вход в эту комнату на третьем этаже был с галереи большого институтского холла. Здесь мы прожили около месяца. Здесь и узнала тётя Вера о том большом несчастье, которое утаил от неё хиромант. На войне погиб её сын Ваня.

Вера слегла. Она лежала на койке, прикрыв глаза рукой. Из-под руки по щекам её катились слёзы. Она отказыва-

лась от еды, говорила, что очень болит голова. Врача к ней не вызывали. Давление ей никто не померил, но теперь я думаю, что это был гипертонический криз. Она пролежала так три дня. Утром четвёртого дня поднялась, сказала:

– Надо ехать на рынок, еды в доме нет.

На неё было страшно смотреть, я поехал с нею, помог покупать продукты – носил за нею тяжёлую хозяйственную сумку.

Потом, когда она немного оправилась, мы с нею съездили на Пороховые к Ваниной жене Дусе. Она рассказала, что знала о гибели Вани. Он погиб где-то на Псковщине от немецкой бомбы. Бомба пробила палатку, от взрыва погибли все. Там же на Пороховых повидала Вера своего внука Вову. Ему было лет шесть или семь. Она его очень любила.

Скоро во дворе Университета в маленьком двухэтажном флигеле отцу предоставили комнату площадью метров двенадцать, на первом этаже. Рядом была ещё комната, где жили соседи, и какой-то продуктовый склад. Общий для всего этажа туалет был на лестнице. Так плохо мы, кажется, никогда ещё не жили. Одна кровать была у родителей, другая у меня. Тётя Вера спала на полу под окном. Не помню, был ли у неё матрас. Я тогда уже начал ходить в школу, мой школьный товарищ Юра Державец как-то зашёл ко мне. Родителей дома не было. Когда он вошёл в комнату, тётя Вера, набегавшись за день, отдыхала, свернувшись клубочком на голом полу под окном. Юра ужаснулся:

– Что с нею?

Мне стало стыдно, я не знал, что ему сказать. Ведь по заведённому у нас порядку домработница лечь на пустую хозяйскую кровать не могла. Мне тогда было 14 лет, и я начинал понимать, что такой уклад жизни ненормален. Но мне с самого раннего детства внушался «основной принцип бытия»: слушайся папу и маму, не суйся в дела взрослых. Способность самостоятельно принимать решения пришла ко мне, пожалуй, только на склоне лет.

Мама устроилась работать в университетскую типографию, тётя Вера тоже пошла работать – сменным вахтёром в университетскую охрану. Её пост был на том конце университета, который обращён к теперешней площади Сахарова. Отец вернулся в свою лабораторию на факультете физики, тут же рядом.

Занятия в школе начались в сентябре. Теперь обучение стало раздельным, мальчики и девочки учились в разных школах. Мама записала меня в школу № 32 на улице Восстания. Каждый день я ездил в школу и возвращался из школы на трамвае – с Васильевского острова путь не близкий. Аргументом для такого выбора школы было то «соображение», что школа находилась недалеко от нашего разбомбленного дома, и это, якобы, поможет нам скорее получить назад наши комнаты в этом доме. Я проучился в этой школе два года и вконец измучился от этих каждодневных переездов в переполненных трамваях. На третий год меня перевели в 31-ю школу на набережной Лейтенанта Шмидта. В разбомбленном доме одну комнату вместо трёх получили только в 1951 году, когда я уже служил в армии. В ней поселился вернувшийся с Дальнего Востока Фрезер.

«Квартирный вопрос» для Клементов решился более или менее благополучно, когда Университет выделил отцу две прекрасные большие комнаты в бывшей квартире О. Д. Хвольсона, знаменитого физика, автора пятитомного «Курса физики». Это были комнаты на четвёртом этаже профессорского флигеля Института физики. Огромная, в шесть комнат квартира Хвольсона была превращена в коммуналку, в ней жили ещё три семьи, была и большая общая кухня. На этой кухне в углу стоял какой-то оставшийся от Хвольсона ящик. Вот на этом-то ящике и отвели тёте Вере место для спанья. Соседи поворчали, но не громко, потом вообще смирились с таким представлением нашей семьи о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Но не смирилась с ночным при-

сутствием тётки Веры на кухне местная крыса, она укусила её.

Потом отец привёл институтского столяра, который отгородил перегородкой тёмный тупик коридора рядом с кухней. Здесь устроили коморку для тётки Веры. Помещение это было столь мало, что когда она ложилась спать, вытянуть ноги не могла. Ей приходилось подставлять рядом со своим топчаном табуретку, чтобы можно было спать хотя бы наискосок. Профессор Четыркин, наш сосед, запротестовал: это была перепланировка квартиры, на это нужны были санкции свыше. Но дело осталось без последствий.

Питались мы в общем неплохо. Тогда в Ленинграде существовали «лимитные магазины» для разной привилегированной публики. Многие университетские работники получали лимитную карточку и могли покупать продукты в таких магазинах. Была лимитная карточка и у отца. Выбор продуктов в лимитных магазинах даже по современным понятиям был очень неплохой, цены невысокие. Можно было купить и икру, и сыр, и развесной шоколад, и какую-то деликатесную рыбу. Простой рабочий люд в стране победившего пролетариата не мог и мечтать о такой гастрономии. Но скромная наша тётка Вера к этим «хозяйским продуктам» почти и не притрагивалась, разве что отщипнёт кусочек чего-нибудь вкусненького, чтобы попробовать.

До войны тётка Вера состояла в профсоюзе домашних работниц. Я помню, как с нею вместе ходили мы «платить в союз» на Лиговку, где в подвальном помещении размещалась эта контора. Там, в очереди, она имела возможность поболтать с такими же, как она, нянками и прислужгой. По возвращении из Елабуги никто не догадался подсказать ей, что надо возобновить членство в профсоюзе, который для того и создан, чтобы защищать права трудящихся домработниц.

Когда мы переселились в квартиру Хвольсона, зарплату Вера всё ещё не получала. За разговорами на коммунальной кухне это обстоятельство

скоро стало всем известно. Жена профессора Четыркина, немолодая уже умная женщина объяснила Вере, что она – жертва жестокой эксплуатации. И Вера решилась попросить у хозяев зарплату. Обратиться к папе она не осмелилась, сказала маме. Я присутствовал при этом разговоре. Мама и своим видом, и тоном своего ответа выразила недовольство. Вечером того же дня она рассказала об этом разговоре папе. Тот попросил её позвать Веру и сухо, кратко объяснил ей, что время сейчас военное, жизнь очень трудна, она находится в неплохих условиях, поэтому говорить о зарплате сейчас неуместно. Вера выслушала его, сидя на краешке стула, боясь хоть что-то сказать. Но с этого дня она стала получать своё «жалованье».

Как-то, зимним вечером, когда родителей не было дома, а я с тёткой Верой собиравшись поужинать, кто-то постучал к нам в дверь. Вера пошла открывать. Она приоткрыла дверь и обмерла: там стояла её сестра Дуня из Котениц, соседней с Подоспой деревни. Она была одета в старое чёрное подпоясанное пальто, за плечами у неё была котомка. Ей было лет шестьдесят. Она приехала в Питер «по делам» и зашла проведать сестру. Вера провела её в свою коморку.

Я как раз ужинал, чем бог послал, а послал он из лимитного магазина великолепную копчёную треску. Я тихонько вызвал Веру в коридор:

– Тётка Вера, Дуню надо накормить. Веди её за стол.

И вот Дуня сидит у нас в столовой. Я во главе стола, она сбоку, рядом со мной. Я положил ей на тарелку большой кусок белой трески в коричневой прокопчённой кожице. Низко склонившись над тарелкой, она стала руками отщипывать кусочки рыбной мякоти и отправлять их в рот. Я решил, что должен занять гостью разговором. Я хорошо знал Дуню, совсем ещё маленького меня водила к ней в деревню Вера. Я расспросил её, как дела в Котеницах после войны. Она кратко отвечала:

– Сжѐг нас немец. И Подоспа, и Котеницы, всё сгорело.

– Где же вы живѐте?

– Землянку сделали, живѐм.

Я понял, что она наверно голодна, и я мешаю разговором ей есть. Я замолчал. Скосив глаза, я посмотрел на неё – по щекам её текли слѐзы. Она доела рыбу, подобрала с тарелки крошки, вытерла корочкой тарелку.

– Спасибо, родимый, храни тебя господь. Никогда я такой рыбы не ела.

Мне было 14 лет.

110

* * *

В 1946 году Вера упростила хозяев отпустить её на лето в Подоспу. Я решил во что бы то ни стало поехать вместе с нею. Посоветовавшись между собой, родители согласились, что такой угрозы, как 1941 году, теперь нет, и меня отпустили. Помню, я сам сбегал на вокзал и купил билеты на поезд до Гдова. Уля пришла нас встречать. И вот я снова в Подоспе.

Баба Фима давно уже умерла, от сожжѐнной её избы остался один фундамент. У тѐти Ули к этому времени была выстроена крошечная избушка. Землянка, в которой она с Ниной и Галей жила после сожжения деревни, служила теперь жилищем для скотины. Я устроился спать на сене под крышей землянки. Закрывшись от ночных холодов тулупом, слушал я по ночам пение петухов. А на рассвете я выбирался изпод тулупа, брал удочку и по холодной утренней росе шѐл на Плюссу. Рыбалка тем летом была необыкновенно удачна – я вылавливал за день до ста порядочных окуньков и плотичек. Тѐтя Вера варила богатую уху на всё семейство тѐти Ули.

Успел я и влюбиться в обыкновенную деревенскую девочку Катю и прострадал всё лето – Катя была ко мне благосклонна, но я представлял себе любовь по Жан Жаку Руссо и читал ей «Стихи о Прекрасной Даме». Поцеловать её я так и не додумался.

Лето это осталось в памяти у меня как счастливѐйший эпизод моей жизни.

В 1947 году отец снял на лето дачу в Нойтерма на берегу современного Комсомольского озера. Лето это запомнилось тем, что мы много времени проводили с отцом на озере. Из старой затонувшей лодки соорудили настоящую яхту с килем, мачтой и парусом. Ходили на ней по всему озеру. Я успешно рыбачил на удочку. И собирали грибы – их было так много, что брали только белые, приносили их по 60–80 штук. У меня был велосипед, я объездил все окрестности, исследуя проходившую здесь линию Маннергейма. Тѐтя Вера готовила нам еду, но в основном мы питались молоком от хозяйской коровы.

В том году я должен был получать паспорт, и приехал для этого среди лета с дачи в Ленинград. И тут к нам на Университетскую набережную пришѐл Верин внук Вова. Ему было 11 лет. У меня возникла идея взять его с собой на дачу – тѐтя Вера будет рада, она ведь так его любит, а я научу его рыбачить, покатаю на нашей яхте. Договорились, что он завтра утром придѐт ко мне, мы отправимся на Финляндский вокзал и поедем в Нойтерма. Какова же была радость и удивление тѐти Веры, когда она увидела, что к ней приехал Вова, – у неё даже слѐзы выступили на глазах.

Вова был умный, скромный мальчик. Он вырос без отца, привык к труду, что такое капризы вообще не знал. Под моим руководством он сделался заправским рыбаком, освоил хождение под парусом, гонял по лесным дорожкам на велосипеде. Спали они с тѐтей Верой на сеновале – в комнате лишней кровати не было. Он провѐл у нас почти целый месяц, но в конце концов с грустью сказал, что пора уезжать, мама там, наверно, беспокоится. Я отвѐз его на раме велосипеда до станции, посадил в поезд. А когда вернулся, тѐтя Вера обняла меня и сказала:

– Спасибо тебе за Вову, что ты привѐз его сюда ко мне.

В 1949 году я заканчивал 10-й класс средней школы, сдавал выпускные экзамены. Волнений было много, но сдавал, в общем, хорошо. А литературу даже на «отлично». На экзамене присутствовал представитель из горно, желчный мужчина, который считал своей обязанностью каждому ученику задать дополнительный вопрос. Добрая наша преподавательница волновалась, кажется, больше, чем мы сами. Экзаменационные билеты на столе она разложила хитрым образом: лёгкие с края стола, а плохие зарыла внизу. Я об этом не знал и, когда подошла моя очередь тянуть билет, подошёл к столу, разрыл билетную кучу и взял билет с самого низа. Прочёл билет: «Янка Купала и Якуб Колас». Учительница прошептала мне тихонько:

– Ну вот, выкопали себе билетик.

Билет был из самых скверных – этих поэтов никто не знал и не читал. Я так же тихо шепнул ей:

– Всё будет в порядке.

Дело в том, что перед самым экзаменом я на всякий случай прочёл в учебнике страницу, где говорилось об этих поэтах. Ответил хорошо. А злобный проверяющий задал мне недозволённый вопрос:

– Белорусов вы, я вижу, знаете. А Достоевского читали?

Достоевского в программе не было – дело было в 1949 году, Достоевский был под запретом. Но запретный плод

сладок, я читал все основные романы Достоевского. Я перечислил их: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Игрок», «Идиот», «Подросток»... Спросил:

– Рассказать содержание?

Он был доволен, но всё же спросил: – А «Неточку Незванову» вы читали?

– Читал. Я считаю, это был бы лучший роман Достоевского, если бы автор дописал его до конца...

Лицо нашей учительницы сияло. Я получил «отлично».

Когда после экзамена я пришёл домой, в нашу «Хвольсоновскую» квартиру, заждавшаяся меня тётя Вера спросила:

– Раля, ну как?

Я, глупый наглец, решил подшутить над нею:

– Провалился!

Тётя Вера, удерживая слёзы, закрыла себе ладошками рот. Я понял, что наделал, кинулся к ней:

– Тётя Верушка, прости! Я пошутил, я получил «отлично», всё в порядке!

Мы обнялись, тётя Вера, прижимая меня к своему сердцу, сказала:

– За что я тебя так люблю?

После этого я никогда уже не позволял себе глупых шуточек с тётей Верой. Я понял, что она для меня самый близкий и дорогой человек. От неё я получил в те детские годы первые уроки христианской любви и самоотвержения...

г. Санкт-Петербурга